



УИЛЬЯМ УОЛФОРТ

«РОССИЙСКО-ЗАПАДНЫМ ОТНОШЕНИЯМ НЕДОСТАЕТ РЕАЛИСТСКОГО МИРОВОСПРИЯТИЯ, ПРИЧЕМ С ОБЕИХ СТОРОН...»

Уильям Уолфорт – выдающийся современный американский исследователь в области теории международных отношений, истории «холодной войны», американской и российской внешней политики. Он – один из основоположников и наиболее яркий представитель неоклассического реализма – крупной школы мысли в теоретических исследованиях международных отношений, оказавшей влияние на современное понимание мирового порядка в 1990-х и 2000-х годах.

Уильям Уолфорт с отличием окончил Йельский университет; преподавал в Принстонском, Джорджтаунском университетах. В настоящее время занимает пожизненную профессорскую позицию им. Дэниэла Вебстера в Дартмутском колледже, входящем в элитную Лигу плюща, объединяющей восемь ведущих вузов США. В 2006–2009 годах возглавлял Факультет управления этого учебного заведения. Согласно исследованию Лондонской школы экономики, в 2000-х годах реализуемая на нем бакалаврская программа по политологии была признана лучшей в мире.

У. Уолфорт – автор 6 книг и более 60 статей, в которых он, в частности, подробно исследовал такие вопросы, как однополярность в международных отношениях, баланс сил и современное положение США на мировой арене. Автор концепции «стабильного однополярного мира», взятого на вооружение

американской администрацией в начале 2000-х годов. Наконец, он член Редколлегии журнала «Международные процессы».

Уильям Уолфорт неоднократно бывал в России. В 2015 г. в ходе его очередного визита редакция журнала «Международные процессы» договорилась об интервью, которое мы публикуем ниже.

М.П. Профессор Уолфорт, начало Вашей блестящей карьеры в 1989–1991 годах совпало с крушением Восточного блока и роспуском СССР. Многие в тот период упрекали ученых-международников, особенно сторонников школы политического реализма, в неспособности предвидеть такой крутой поворот в мировых делах. Как Вам удалось сохранить веру в перспективность изучения международной политики с опорой на наследие Ганса Моргентхау, Кеннета Уолтца и других на фоне того, как в адрес именно этой аналитической традиции раздавалась самая сокрушительная критика?

У.У. Вы правы: на конец «холодной войны» и распад Советского Союза пришлось мои первые шаги в профессии. В те годы я написал несколько работ, в которых как раз попытался ответить на критику в адрес школы политического реализма. Мой ответ можно свести к трем тезисам. Во-первых, школа политического реализма конца

1980-х годов уже довольно далеко отстояла от своих парадигмальных истоков, от классиков политического реализма и их взглядов. Как следствие, возникла необходимость переосмыслить критерии и категории теоретического подхода и, в частности, обратить внимание на некоторые нематериальные по своему характеру интересы, в особенности — соображения престижа и статуса в структуре мотивов государств на международной арене. Мой довод заключался в том, что адаптация политического реализма за счет инкорпорации в него этих новых элементов поможет если не прогнозировать события подобные тем, что произошло на рубеже 1990-х, то хотя бы быть к ним более подготовленными интеллектуально.

Во-вторых, доминирующим течением в рамках реализма на завершающем этапе «холодной войны» был неореализм, или так называемый структурный реализм К. Уолтца. Я же полагал, что из-за неоправданно длительного засилья данной школы мысли в ее тени оказалась теория возвышения и упадка великих держав, которую, в частности разрабатывал в том числе мой коллега по Принстонскому университету Роберт Гилпин. На мой взгляд, если совместить теоретические призывы Гилпина и Уолтца, на выходе мы получим гораздо более внятное объяснение тому, что имело место на закате «холодной войны», чем если бы мы следовали только неореалистским постулатам.

Наконец, *в-третьих*, я утверждал, что владение теорией международных отношений не способно подменить регионоведческие знания, знания о конкретной стране, не способно заменить регулярное чтение специальной экспертной литературы по той стране, которую ты изучаешь и стремишься понять, в том числе литературы издаваемой в стране изучения на языке оригинала. Сказанное было как никогда важным в годы биполярной конфронтации, в рамках которой только две страны имели непропорционально огромное влияние на состояние и тенденции международной политической жизни. На мой взгляд, именно из-за того, что большая

часть ученых-международников не следила за происходящим в Советском Союзе события рубежа 1980 х и 1990-х годов оказались для них полной неожиданностью.

М.П. Вы один из основоположников и главных выразителей неоклассического реализма. Однако иногда это течение обвиняют в том, что оно представляет собой, скорее, некую амальгаму положений, позаимствованных у внешнеполитического анализа и конструктивизма и искусственным образом отнесенную к реализму, нежели самостоятельную школу мысли со своей специфичной научно-исследовательской программой. Как бы Вы определили предмет неоклассического реализма?

У.У. Неоклассический реализм — быстроразвивающийся теоретический подход к изучению международных отношений. В настоящее время завершается работа над книгой, в которой некоторые ключевые его представители стремятся вывести данный подход на новый уровень, на уровень полноценной теории, или теоретического подхода, в международно-политических исследованиях, тогда как ранее положения неоклассического реализма применялись для объяснения исключительно внешнеполитического поведения.

Тем не менее я соглашусь с правомерностью постановки вопроса об отличительных особенностях неоклассического реализма. На мой взгляд, когда представители школы внешнеполитического анализа или конструктивизма исследуют вопросы силы и когда они обращают внимание на то, каким образом международная система оказывает воздействие на поведение государства, они действительно сближаются с неоклассическим реализмом (правда, ни те, ни другие в большинстве случаев не интересуются обозначенными проблемами). Здесь следует вспомнить о существовании теоретической школы, именующей себя конструктивистским реализмом (прежде всего это такие авторы, как Дэниэль Нексон, Стэйси Годдард, Сэмюэль Баркин), которые открыто работают в русле конструктивистской методологии, разрабатывая в сущности реалистское предмет-

ное поле – вопросы силы и борьбы за нее. Я полагаю, что представители данной школы мысли в целом ряде отношений смыкаются с неоклассическим реализмом.

М.П. *А если мы отвлечемся немного от видовых различий ответвлений реализма и посмотрим на него «издалека», можно ли утверждать, что сегодня он представляет собой целостную парадигму, теоретическую платформу, либо же это, скорее, некий широко понимаемый дискурс, сообщество исследователей, а не совокупность взаимосвязанных теорий? Отдельные его ветви сильно различаются и нередко остро полемизируют друг с другом. Так, быть может, это просто такое кодовое словечко, которым удобно обозначать очень разные по сути коалиции близких по духу исследователей, чем некая исследовательская программа. Сохраняется ли у реализма, говоря в терминологии Имре Лакатоша, теоретическое ядро?*

У.У. На мой взгляд, у реализма нет исследовательской программы «по Лакатошу» и никогда не было. И тот факт, что многие верили в иллюзию ее существования, привело ко многим проблемам. Я думаю, лучше всего реализм описывается словосочетанием «школа мысли», определенный подход к пониманию внешнеполитической практики и поведению государств на международной арене. При этом, несмотря на его необыкновенную разнородность, реализм характеризуют несколько ключевых, фундаментальных постулатов о международной политике. Среди них тезис о центральной роли категории «силы» в международных отношениях и о приоритете групповых интересов над индивидуальными в рамках схемы «уровней анализа». Кроме того, я полагаю, все теории и подходы, объединенные под шапкой реализма, разделяют точку зрения, согласно которой в структуре мотиваций человеческого поведения эгоизм всегда побеждает альтруизм. Наконец, абсолютно всем представителям тех или иных реалистских школ присуще некое чувство принадлежности к одному парадигмально-методологическому полю.

Я убежден в том, что специалистам, специализирующимся в области международных отношений, крайне важно изучать реализм как некий единый теоретический подход. Уверен, что любой студент, постигающий международную политику и незнакомый с положениями этой школы, с объединяющей её внутренней аксиоматикой, будет интеллектуально беднее, нежели его сверстник, владеющий теоретико-методологическим аппаратом реализма. Я бы не стал излишне «педалировать» собственно научные основания реализма, но одно совершенно точно: это целостная школа мысли, скрепляемая едиными взглядами и гипотезами относительно природы и структуры социального мира, в котором мы с вами живем.

М.П. *Неоклассический реализм, который мы обсудили чуть ранее, также внутренне довольно разнороден, как и вся реалистская парадигма. Вы и Ваши коллеги берете в качестве объясняющих переменных отдельные аспекты внутренней политики государств, но при этом речь идет о весьма различающихся между собой объектах анализа. Что же, неоклассический реализм также не представляет собой единой исследовательской программы?*

У.У. Упомянутые мною авторы книги, а центральные фигуры – это, конечно, Стивен Лобелл, Джеффри Тальяферро и Норрин Рипсман, действительно очень плодотворно работают над тем, чтобы превратить неоклассический реализм из схемы анализа в полноценную исследовательскую программу. Анонсированная книга – как раз попытка двинуться в этом направлении. Судить, насколько она окажется успешной, должно будет профессиональное сообщество, представляющее нашу многоликую дисциплину. Другими словами, среди неоклассиков есть когорта ученых, стремящихся трансформировать данное течение реализма в научно-исследовательскую программу в духе Лакатоша. В то же время Вы совершенно правы в том, что пока этого не произошло, и речь идет все-таки скорее о некоем подходе к изучению

внешней политики, который пытается использовать положения реалистских теорий, но который при этом гораздо менее догматичен, чем, скажем, неореализм. Так что, отвечая на Ваш вопрос: нет, пока это не исследовательская программа в полном смысле.

М.П. Ранее Вы уже начали говорить о соединении в рамках неоклассического направления аксиоматики реализма и переменных на уровне конкретных субъектов действия. В этой связи в голову сразу приходят Ваши работы по однополярности, в которых Вы рассматриваете данный феномен не только со структурной точки зрения, но и с позиции одного из вариантов однополярной организации мира. В статье 1999 г. [Wohlforth 1999] Вы приписывали роль этого единственного полюса США, однако последовавшие за этим 2000-е годы оказались для Вашингтона весьма трудными с точки зрения их оценки своей роли в мире — из-за события 11 сентября, войны в Ираке 2003 г. и других острейших вызовов. Не заставили ли Вас события 2000-х годов пересмотреть выводы, сделанные на излете «американского десятилетия» 1990-х?

У.У. И да, и нет. Я бы не сказал, что пересмотрел с тех пор теорию, лежавшую в основе публикации 1999 года. Напротив, в статье 2002 г. в журнале «Форин афферз», которую я опубликовал в соавторстве со Стивеном Бруксом [Brooks, Wohlforth 2002], я с той же настойчивостью, как и прежде, отстаивал точку зрения, согласно которой США следует придерживаться линии самоограничения в своей силовой политике на мировой арене, что это — наилучшая стратегия в сложившихся обстоятельствах. При этом вы должны понимать, что каждый раз, когда ты пишешь научную статью, ты волей-неволей испытываешь на себе влияние текущих внешнеполитических событий. Более того, редакции многих журналов как раз хотят, чтобы в статье были сделаны практические прогнозы и рекомендации, для которых в классической научной статье, как правило, нет места.

Статья 1999 г. в действительности писалась в 1998-м во времена администрации

У. Клинтона, то есть в совершенно других международно-политических условиях. С приходом в Белый дом администрации Дж. Буша-мл. я решил (объединившись с Бруксом) подготовить материал для «Форин афферз», где мы попытались сформулировать максимально убедительную (поскольку мы уже видели первые признаки нового поворота в американской стратегии) аргументацию в пользу самоограничения во внешней политике, в пользу недопущения односторонности в наших действиях. В той ситуации оптимальным модулем поведения для США, на наш взгляд, была максимальная многосторонность и кооперативность, если угодно — «великодушные», что для страны, находящейся в положении однополярного гегемона, является наиболее эффективной стратегией.

Та статья носила название «Американское первенство в международном контексте», и ее главный тезис состоял в следующем: США оказались наиболее могущественным государством в истории международных межгосударственных отношений, что, тем не менее, отнюдь не означает, что Америка всеильна. Наоборот, в тех условиях необходимо было сохранять трезвое понимание пределов американской мощи, которое не позволило бы совершить абсолютно безрассудную с точки зрения здравого смысла авантюру на Ближнем Востоке, раздираемом внутрирелигиозной враждой, и разворошить существовавшие там режимы в надежде насадить повсюду семена демократии. Такого рода патологическое восприятие силы говорит о том, что ты скорее мнишь себя богом, нежели великой державой, пусть и наиболее могущественной.

Таковы были наши два основных тезиса: первое, сохранять трезвомыслие при оценке объективных параметров американской мощи, и, второе, следовать политике сдержанности и кооперативности. То и другое в полной мере соотносится с теорией однополярности и уж точно ни в чем ей не противоречит. Однако администрация Буша, особенно в первые несколько лет избрала совершенно другую стратегию, печальные результаты которой для всего мира и для

США хорошо известны. Вот почему, на мой взгляд, произошедшие в 2000-х события несколько не подорвали основ моей исходной теории.

Вместе с тем за истекшие почти полтора десятилетия я доработал теоретические основания анализа, и в следующем номере «Интернешнл секьюрети» у нас с Бруксом выйдет об этом статья. Прежде всего, мы пересмотрели полезность понятия «полярность» при концептуализации изменений в международных системах. В известном смысле критерий полярности заставляет вас мыслить в категориях «все или ничего». Получается, что у вас либо однополярность, либо биполярность; либо биполярность, либо многополярность, что мешает уловить подлинные изменения в международной системе. Именно эта концептуальная проблема постигла нас в 1980-х, вследствие чего никто из коллег, включая меня, не смог предугадать скорого завершения «холодной войны». По всем формальным признакам система оставалась биполярной, однако в тени этой формальной конструкции стремительно разворачивались существенные изменения, которые мы не могли разглядеть и выхватить из потока событий в силу отсутствия адекватного инструментария. Моя ошибка в статье 1999 г. заключалась в том, что я предпочел использовать термин «однополярность» для характеристики происходивших изменений.

За последние 20 лет в системе, несомненно, произошли масштабные изменения, особенно в свете возвышения Китая. Но не только: Россия также активно реконституирует себя в качестве более дееспособного, в том числе в военном отношении, государства, чего не было в 1999 году. Мир активно меняется, и призма полярности не позволяет в достаточной мере зафиксировать эти изменения. Вот почему у меня нет однозначного ответа на Ваш вопрос. С одной стороны, фундаментально однополярная система по-прежнему работает в логике, описанной мною в 1999 году, и в этом смысле события 2000-х годов ничего принципиально не изменили. С другой — сам концепт однополярности все

меньше и меньше позволяет описывать и объяснять происходящие в системе изменения, особенно с учетом фактора возвышения Китая.

М.П. Вы рассказали, как неоднократно призывали к отказу от интервенционизма. Сразу вспоминаются результаты опроса американских исследователей 2004 года. Его респонденты также в большинстве своем высказались против Иракской войны. Джон Миршаймер, например, хоть он и происходит из совершенно другого «племени» реалистов, тоже активно протестовал против этой авантюры. Что же получается: мир практической политики настолько оторван от мира академической науки? В чем же тогда смысл научной дискуссии, если она не способна повлиять своими предостережениями на состояние умов в администрации и спровоцировать изменения в проводимой политике?

У.У. Я думаю, влияние ученых на реальную политику всегда было довольно ограниченным. Конечно, какое-то влияние присутствует. Полного отрыва одного и другого, разумеется, нет. Мнения ученых, безусловно, имеют значение: они могут направить общественную дискуссию по проблеме в одну или другую сторону. Вместе с тем говорить о решающем влиянии на процесс принятия непосредственно решений все же нельзя.

Первый пример отсутствия такого влияния в постбиполярный период — расширение НАТО. Подавляющее большинство специалистов в сфере теории и истории международных отношений выступали против этой идеи, особенно против второй волны расширения. Такие влиятельные фигуры, как Джон Луис Гэддис и Джордж Кеннан, публиковали очерки с выражением активного несогласия с официальной линией. Однако их голоса не были услышаны. Следующий пример — вторжение в Ирак, которое также вызвало почти единодушную оппозицию научного сообщества, причем не только международников-теоретиков, но и регионоведов. Вероятно, кто-то из экспертов по Ближнему Востоку мог в самом деле верить в возможность демократизации

Ирака, но таких можно было пересчитать на пальцах одной руки. И тем не менее администрация решила проигнорировать мнение экспертно-академических кругов и продолжала следовать избранным курсом.

Так что влияние это, действительно, весьма ограничено. Вместе с тем главная цель науки все же объяснять и постигать сущность окружающих нас явлений. Влиять на политику — цель вторичная. Даже если к Вашему мнению не прислушались практики, если Вы сумели выполнить главную задачу — придать смысл происходящему, то Вы как ученый в любом случае состоялись. К тому же я думаю, что какое-то воздействие на процесс принятия решений ученые все же оказывают, что состояние дискуссии по внешнеполитическим вопросам в стране будет качественнее, если в ней существует разветвленная сеть независимых экспертов, способных указать на просчеты и ошибки правительства и призвать его к ответу, даже если эти ошибки и просчеты выявляются уже постфактум.

Во всяком случае я уверен, что теперь в Белом доме нет иллюзий по поводу возможности проводить любую удобную им политику на Ближнем Востоке без каких бы то ни было негативных последствий, свергать режимы, устанавливать демократические институты и т.д. Вероятность того, что США будут проводить в регионе гораздо более гибкую, нюансированную политику непрямого воздействия на протекающие там процессы сегодня гораздо выше, чем в начале 2000-х. Да, в этом не только и не столько заслуга ученых, сколько результат испытания методом проб и ошибок. Тем не менее ученые помогли создать фон общественной дискуссии на эту тему, и состояние этой дискуссии сегодня гораздо лучше. Оно способно привести в будущем к более обдуманным решениям, особенно если влияние на эту дискуссию оказывают представители университетской науки, которые могут без оглядки на возможные профессиональные последствия для себя критиковать правительство и требовать внятного объяснения проводимой политики. И это важно само по себе — даже невзирая на отсутствие у

таких ученых каналов прямого воздействия на принимаемые решения.

М.П. Мы поговорили об изъянах политики. Давайте обратимся к изъянам академической науки. Каково Ваше мнение по поводу разного рода модных поветрий в исследовательском сообществе. Например, сегодня растет число авторов, которые пишут о становлении многополярности. Некоторые вообще говорят о «бесплюсном мире». Эти идеи как минимум с 2008 г. стали почти вездесущими. Как Вы спасаетесь от такого рода модных течений, как Вам удастся не отвлекаться на них от своих непосредственных научных интересов, но одновременно оставаться открытым к реально происходящим изменениям в международной системе?

У.У. Вы очень точно обозначили эту непростую дилемму: быть адекватным современному миру и его актуальному состоянию и не дать захватить себя модными идеями.

У меня нет готового ответа на этот вопрос. Как любой ученый-международник, я не могу удержаться от соблазна отслеживать текущие события. Как и все сейчас, я внимательно слежу за действиями ИГИЛ и ситуацией в Сирии. Как и многие другие, я поглощен феноменом возвышения Китая. Все это — крайне важные темы и тенденции, и не наблюдать за ними невозможно. Я думаю, ответ на поставленный вопрос заключается в четком определении используемых при анализе понятий и в соотношении их с эмпирикой.

В публичных обсуждениях, когда люди бросаются терминами типа «многополярность» или «полицентричность», я часто не очень понимаю, что под этим подразумевается. Как правило, если эти термины сопровождаются подходящими определениями, то разговор принимает вполне разумный ход. Как правило, имеется в виду, что США уже не настолько могущественны и что в миросистеме действует много других влиятельных игроков, или что существуют проблемы, требующие коллективного решения (в том смысле, что их нельзя устранить какому-то одному, даже очень сильному государству). Но все эти соображения

очевидны и не требует изобретения дополнительных терминов! Или, например, что в мире возникло большое количество негосударственных игроков типа ИГИЛ или Аль-Каиды, которые также оказывают существенное воздействие на мировые дела. Но кто будет спорить с этими трюизмами?

Хуже того: часто в дискурс вбрасываются совершенно новые термины, как, например, упомянутый Вами «бесплюсный мир». При этом не поясняется с достаточной мерой подробности, что стоит за этим понятием, по каким критериям можно судить о его наступлении. Это просто «цепкие фразы». Я пытаюсь использовать понятную терминологию, смысл которой очевиден мне и читателю. Вот почему, как я уже отметил выше, мне в какой-то момент стало неудобно пользоваться термином однополярность, поскольку он не добавляет никакого нового знания в наше понимание действительности, а вся дискуссия сводится к репликам типа: «да, мир все еще однополярен», «нет, мир не однополярен» и так далее.

Я сформулировал этот тезис во время выступления в МГИМО. Гораздо полезнее определить, что такое сверхдержава и сколько сверхдержав в современном мире. **Сверхдержава**, на мой взгляд, это государство, которое способно одновременно обеспечивать гарантии безопасности в нескольких регионах мира и располагает значительным экспедиционным потенциалом проецирования военной силы, благодаря чему она может осуществлять контроль над так называемыми общими пространствами.

Имея такое определение, можно легко ответить на вопрос, сколько мы имеем сверхдержав в современной международной системе, как и в пределах какого временного горизонта это число может изменяться. Мой ответ на эти вопросы, исходя из имеющихся данных, состоит в том, что восхождение Китая к статусу сверхдержавы представляется практически невероятным даже в отделенном будущем. В равной степени низкими, по крайней мере в обозримой перспективе, выглядят шансы превращения Китая в государство, способное помешать Соединённым Штатам Америки действовать как

сверхдержава. В этом смысле, я полагаю, все заявления о наступлении многополярности представляются не только преждевременными, но и сильно преувеличенными. И тем не менее все, что люди говорят о многополярности или полицентричности, в какой-то степени справедливо, и в общем и целом я не могу сказать, что с этим принципиально не согласен. Отвечая на ваш исходный вопрос: очень важно определиться с терминами при описании действительности.

Вот, например, Вы упомянули финансовый кризис 2008 года. В значительной степени современная «мода на закат США» была спровоцирована и неудачей Соединённых Штатов в Ираке, после которой все стали обсуждать закат *Pax Americana*. Нет сомнений в том, что все это — важные по своему масштабу события. Просто их политическое значение, их влияние на структуру международной системы, на мой взгляд, несколько переоценивается.

М.П. Вам не кажется, что предложенное определение сверхдержавы подходит исключительно для морских держав. Не случайно Вы упомянули контроль над общими пространствами, под которыми традиционно имеют в виду Мировой океан. По существу, когда мы говорим о преобладании США как сверхдержавы мы имеем в виду именно контроль над морскими коммуникациями, а когда говорим о потенциале силового проецирования, то подразумеваем флот. Не означает ли это, что нам необходимо задуматься над другими определениями сверхдержавы, подходящими для континентальных держав, таких, как Россия и, может быть, Китай, и подыскать другие критерии для измерения их силы и влияния?

У.У. На эту тему есть обширная научная литература, в частности работы Уильяма Томпсона [Thompson 1992, Thompson 2008]. В них сопоставляются глобальные державы с континентальными сухопутными державами. В каком-то смысле в истории сложились и продолжают действовать определенные закономерности, модели соперничества сухопутных и морских держав. Мне хорошо известно, что российская геополитика

тическая школа весьма серьезно и глубоко рефлексирует эти темы. Под этим углом зрения можно посмотреть и на биполярное противостояние времен «холодной войны», когда Советский Союз, без всяких сомнений, был сверхдержавой, но с менее глобальным охватом проекционных возможностей, чем Соединенные Штаты.

Разумеется, вокруг предложенного мной определения можно спорить. Возможно, у кого-то найдется другое определение, и это позволит нам развернуть плодотворную дискуссию. В то же время я могу сказать в свою защиту, что четко определил границы предмета, который рефлексирую, что далеко не всегда имеет место в теоретических построениях международников. Попробую пояснить свое определение.

Во-первых, речь не идет только о преобладании в Мировом океане. К общим пространствам, безусловно, относится и воздушное, и космическое пространства. Преобладание, контроль — возможно, слишком жесткие термины. Понятно, что и другие игроки способны разворачивать значительную активность в этих пространствах. Имеется в виду лишь то, что у Соединенных Штатов есть неоспоримое преимущество, особенно на море и в воздухе, над всеми другими державами, причем в том числе в районах, непосредственно примыкающих к их территориальным водам или суверенному воздушному пространству. Именно это позволяет Соединенным Штатам предоставлять и обеспечивать гарантии безопасности странам, находящимся в любых регионах мира. У Вашингтона около 80 союзников по всему миру, а в отношении 45 государств США принята на себя обязательство в области их безопасности и обороны. Конечно, значительная их часть — государства Латинской Америки, но тем не менее...

Отсюда мой ключевой тезис — структура современной миросистемы в существенной степени определяется тем обстоятельством, что значительное число стран в разных регионах мира находятся в союзнических отношениях с США и пользуются их гарантиями безопасности. Единственной причиной, по которой все эти союзы являются

жизнеспособными, очевидно, и выступает факт обладания Соединенными Штатами Америки статусом сверхдержавы, то есть способности эти гарантии предоставлять и поддерживать. Возможно, однажды наступит день, когда США не смогут или не захотят гарантировать безопасность такому количеству стран, и мир существенно изменится. Это будет мир, правила игры в котором будут определять несколько держав, более или менее сопоставимых по своим комплексным возможностям. Это будет мир без единственной сверхдержавы. Другими словами, только в том случае мы сможем говорить о многополярном мире.

Одним словом, на мой взгляд, вполне обоснованно подчеркивать «экспедиционную» способность обеспечивать гарантии безопасности странам в удаленных регионах в качестве критерия сверхдержавности. Именно эта черта, судя по всему, делает современную международную систему по-настоящему уникальной — значительно отличающейся от международных систем прошлого и будущего. Вот почему я буду настаивать на своем определении сверхдержавы, допуская при этом, что в различных регионах мира могут быть очень мощные государства, сосредоточенные при этом главным образом на региональных делах. В целом же мир определяется способностью одной державы кардинальным образом детерминировать сферу безопасности одновременно в нескольких регионах мира.

М.П. Возвращаясь к вопросам теории. Сегодня многие исследователи едины в том, что мы живем в постпарадигмальную эпоху, в которой различные онтологические, методологические и эпистемологические допущения воспринимаются как в равной степени имеющие право на существование — в каком-то смысле наблюдаем «конец истории» применительно к нашей дисциплине. Однако при всем при этом есть специалисты, провозглашающие начало пятого «большого спора» в международных отношениях. На Ваш взгляд, полезны ли эти споры для развития науки? И как бы Вы оценили бы текущее состояние дисциплины и ее основные вызовы?

У.У. Когда полностью прекращаются фундаментальные споры о гносеологических основаниях дисциплины, она становится безынтересной и самодовольной. Не все отрасли науки сотрясают эти масштабные дискуссии о базовых вещах, но в большинстве общественных наук такие периодические дебаты об исходных предпосылках и допущениях анализа, о теоретических подходах, методологии (и, возможно, даже эпистемологии) в целом все-таки имеют место. И это хорошо. Хуже, когда в дисциплине прекращается интроспективная рефлексия главного, когда все дисциплинарные, проблемные вопросы как будто разрешены.

Тем не менее иногда эти споры могут увести нас слишком далеко от сути изучаемых явлений. Когда говорят о постпарадигмальности в международно-политических исследованиях, в основном имеют в виду 1980-е и 1990-е годы, когда казалось, что новый «большой спор» развернется одновременно между конструктивизмом, реализмом и либерализмом/институционализмом. И вся научная деятельность будет вынуждена соотносить себя тем или иным образом с каждой из этих трех парадигм. Вот это, на мой взгляд, уже чересчур. Каждая статья, написанная на любой частный вопрос, в тот период пыталась обозначить свою позицию в рамках этого спора. В конечном счете можно очень далеко зайти в своем стремлении организовать всю исследовательскую деятельность вокруг этим грандиозных теоретических споров.

Нужна «золотая середина» между чрезмерным акцентом на межпарадигмальности, характерной для 1980-х и 1990-х, и недостаточным вниманием к теоретическим основаниям дисциплины, что характерно для некоторых областей сегодняшней политической науки.

М.П. *Вы лично внесли весьма весомый вклад в «межпарадигмальный мир», написав несколько совместных работ с Джоном Айкенберри, который считается либералом [Ikenberry, Mastanduno, Wohlforth 2009; Brooks, Ikenberry, Wohlforth 2012/2013].*

Порой кажется, что в ваших подходах гораздо больше общего, чем между иными реалистами, которые, например, в принципе отказываются признавать наличие глобальных держав. А, например, Ваши исследования о статусе делают Вас гораздо ближе к конструктивистам, чем к неореалистам. Каково Ваше собственное отношение к межпарадигмальным связям и Ваш личный опыт подобного «связывани»?

У.У. То, о чем Вы говорите, исключительно важно. Я никогда в действительности не понимал, почему кто-то должен ограничивать себя рамками только одной совокупности допущений, пытаюсь постичь явление реально существующего мира. Конечно, если меня когда-нибудь поставят перед выбором одной единственной теории в международных отношениях, то я скорее склонюсь к реализму. Но, к счастью, у меня нет необходимости совершать такой трудный выбор, и я могу при изучении того или иного явления воспользоваться привилегией применить лучшее из различных теоретических подходов и традиций по мере необходимости.

Как Вы, наверное, знаете, нигде это не востребовано в такой степени, как в исследованиях проблематики статуса и престижа в международной политике, в рамках которых объединяются элементы подходов не только классического реализма, но и политической, когнитивной и социальной психологии, а также конструктивизма. Вообще в своей недавней статье [Sambanis, Skaperdas, Wohlforth 2015], которую я написал в соавторстве с двумя другими исследователями в «Америкэн политикал сайенс ревью», мы наглядно показываем, насколько теоретически обогащающим может быть соединение статуса, престижа, конструктивистского понимания национальной идентичности, с одной стороны, и силы (как ключевой реалистской переменной) — с другой. Кстати говоря, это соединение было ключевым для классических реалистских теорий государственной политики.

Неоспорима правота конструктивистов в том, что национальная идентичность в некотором смысле индетерминированна. В то

же время очевидно, что национальная идентичность и, шире, национальное самосознание, национальные чувства – важный источник силы в международной политике. А сила, в свою очередь, основной мотив реалистского анализа. Само собой разумеется, что, будучи способными понять механизм усиления и ослабления влиятельных национальных идеологий, Вы сможете понять, как меняются относительно друг друга позиции государств в международной системе.

И, наконец, если все это правда, то государственным деятелям, тем, кто принимает решения от лица стран, это также очевидно, и они понимают, что конструирование национальной идентичности представляет собой важную составляющую силовой политики. Об этом как раз и идет речь в упомянутой мной статье. Ясно одно, что прийти к этим выводам можно только, обращаясь к различным теоретическим подходам, интеллектуальным традициям и исследовательским программам.

М.П. Наряду с идентичностью, в последние годы появилась еще одна концепция, тесно связанная с конструктивизмом. Это исследование стратегической культуры различных стран. Растет число специалистов, работающих над вопросами общей теории международных отношений, которые, в частности, озабочены текущим состоянием и перспективами американо-китайских отношений. Тем не менее резонно усомниться в достоверности их выводов и оценок, учитывая тот факт, что большинство этих специалистов никогда не изучали китайских язык или китайскую культуру. В какой степени, на Ваш взгляд, фоновые знания важны в этих вопросах, а что можно узнать у генералиста?

У.У. Как я уже говорил, с моей точки зрения, большой ошибкой в годы «холодной войны» было думать, что можно изучать биполярность и ее свойства, но при этом не разбираться в том, что происходит в самих полюсах (в США и СССР). Эта ошибка была допущена учеными, работавшими в 1970-х и 1980-х годах. Аналогичным образом сегодня нас всех живо интересует китайский сюжет, но только некоторые из

нас могут читать на китайском и погрузиться в изучение важнейших аспектов темы по источникам, существующим только на китайском языке. Такие эксперты сегодня крайне востребованны. Я говорю при этом о специалистах в области теории международных отношений, которые также являются китаеведами. В США я отнес бы к таким Эмили Голд, Томаса Кристенсена, Тэйлора Фэбля. Это специалисты в области международных отношений, которые свободно говорят на языке и проводят много времени в Китае. Их работы заслуживают самого серьезного и внимательного анализа.

И тем не менее не будет неверным утверждать, что ученые-международники способны делать предположения о том, что может произойти в том или ином регионе мира, о мотивах для конфликта или сотрудничества, соперничества или взаимодействия на системном уровне. Другое дело, оправдаются ли эти предположения. Коль скоро они исходят из системной аргументации (при всех сопутствующих ей ограничениях), я не вижу никакого криминала в том, чтобы делать прогнозы о Китае, даже если вы не специалист по этой стране. В конечном счете вопрос в том, какого уровня обобщения ты способен сделать. В целом же я убежден в том, что в идеале необходимо сочетать, как бы трудно это ни было, владение теориями международных отношений и общим пониманием происходящих в них процессов и тенденций, с одной стороны, и страноведческую экспертизу – с другой. Если вы слишком увлекаетесь общесистемной аргументацией и полностью игнорируете исторический опыт того или иного государства, особенности его внутривнутриполитической системы, его стратегическую культуру, то вы рискуете упустить из виду крайне важные факторы изменений в международных делах. Верно и обратное. Если вы наблюдаете только за одной страной и никогда не интересовались другими странами, то все, что касается этой страны, начинает вам казаться исключительным и уникальным.

Россия – отличный пример в этом отношении. Люди, изучающие Россию и только ее, со временем начинают думать, что это

такое странноватое, особенное место, где люди одержимы стремлением к обретению великодержавного статуса — как будто другие страны этот вопрос не волнует. Или, например, что Россия удивительна в том смысле, что хочет во что бы то ни стало контролировать регион, в котором она расположена. Но к этому стремятся все державы!

На мой взгляд, обосновать утверждение об уникальности какой-то страны и ее стратегической культуры можно только, тщательно сравнивая ее с поведением других стран, оказавшихся в схожих условиях. Только таким образом возможно установить, является ли реакция данной страны в данном геостратегическом раскладе действительно уникальной и удивительной или отражает общие закономерности поведения государств. Такого рода заключение можно сделать, имея и страновые, и общетеоретические знания.

М.П. Говоря о том, как большие теории трансформируются в прикладной политической анализ: многие в России задаются вопросом относительно природы американских интересов на постсоветском пространстве и в особенности на Украине при отрицании права России на отстаивание собственных интересов в этой зоне. Какая из теорий, на Ваш взгляд, самым точным образом объясняет интересы США на Украине? Реализм, либерализм или, возможно, что-то еще?

У.У. Если подходить к этому несколько огрубленно и максимально широко, мне кажутся наиболее подходящими три теории. Первая — наступательный реализм Джона Миршаймера, который в сущности утверждает, что государства всегда пытаются нарастить свой потенциал и добиться региональной гегемонии, и как только возникает соответствующая возможность, они делают это. Если всерьез следовать этой теории, то получится, что в долгосрочной перспективе США стремятся максимально ослабить Россию, снизить к минимуму вероятность того, что в будущем Россия вновь может представлять собой проблему для США и баланса сил в Евразии. Отсюда — желание воспользоваться любым удобным

случаем, чтобы расширить сферу своего влияния в ущерб интересам России, не дать ей укрепить позиции в своем регионе. С точки зрения наступательного реализма государства агрессивны и всегда ведут себя как ревизионисты. Они всегда хотели бы поменять порядок в свою пользу, даже когда они уже находятся в сильной позиции.

Вторая теория — либеральная. В блестящей книге Майкла Дойла о теориях международных отношениях, в разделе, посвященном либерализму, отмечено, как многообразен и многолик либерализм — примерно так же, как и реализм. И одно из ответвлений либерализма фундаментально направлено на экспансию. Оно утверждает, что только демократия может в конечном счете быть гарантией безопасности и должна быть распространена повсеместно — подобно христианству в эпоху крестовых походов. Другими словами, суть этой теории заключается в том, что у государств есть стремление распространять и воспроизводить схожим образом организованные политики по всему миру. У нас есть примеры подобного рода мышления, уходящие корнями в Античную Грецию, в труды Фукидида, описывающие внешнюю политику Афин, желающих распространить свою политическую систему на Пелопоннесский полуостров. И мы определенно видим проявления такого подхода к пониманию событий в политике США на Украине.

Третье теоретическое объяснение — это теория внутренней политики, о которой довольно часто вспоминают как раз применительно к ситуации на Украине. Согласно этой теории, ключ к пониманию внешней политики США — в крупных силах внутри США, которые оказывают давление на президента, вынуждая его занять решительную позицию и предостерегая от возможных внутренних проблем в случае, если он будет придерживаться выжидательной линии на фоне того, как европейская страна хочет влиться в ряды западных демократий, западного сообщества наций. Идея того, что за внешнеполитическое бездействие Вам придется заплатить высокую внутривнутриполитическую цену, довольно силь-

но укоренена как в США, так и в некоторых европейских странах.

Таким образом, я назвал три теории — наступательный реализм, наступательный либерализм (или либеральный империализм) и теорию внутренней политики. Есть, впрочем, еще одна теория, о которой следовало сказать. Я сомневаюсь, что кто-то в России поверит в её релевантность, хотя в ее пользу говорит многое. Речь идет фактически о некой разновидности теории бюрократической политики. Согласно этой теории, такие большие организации, как НАТО и ЕС, функционируют на основе сложного процесса внутренних переговоров («торга»), результатом которых стала серия довольно опасных и нерациональных решений относительно дальнейшего расширения, причем окончательной позиции на этот счет ни в той, ни в другой организации не выработано.

И в самом деле — нельзя недооценивать роль ЕС в украинском вопросе. Европейская политика соседства и соглашение об ассоциации с ЕС сыграли весьма важную роль в зарождении и углублении этого кризиса. При этом — если Вы поговорите с людьми из Брюсселя, которые действительно в курсе происходящего, Вы увидите, что никакой особой стратегией за действиями ЕС в отношении Украины изначально не было. Фактически мы имеем дело со сложным нагромождением различных игроков в сочетании с неповоротливой бюрократической структурой, в недрах которой было принято решение форсировать вопрос подписания соглашения с Украиной, но в действительности ни те, ни другие не задумывались о том, какого рода реакцию это может спровоцировать в Москве, не отслеживали, как менялось отношение Кремля в предшествующие месяцы и годы к идее расширения ЕС и к политике Евросоюза в отношении Украины. Поверьте, эту часть объяснения нельзя сбрасывать со счета — речь идет не об искусном бисмарковском плане захвата Украины, а о стратегической непоследовательности западных институтов — НАТО и ЕС. Подводя итог, я думаю, эти четыре теории (наступательный реализм, либеральный империализм, внутренняя политика и теория бюрократической

политики) в сумме способны объяснить многое из того, что происходит.

М.П. И все же какая из них, на Ваш взгляд, лучше объясняет американскую политику по отношению к России и к украинским событиям?

У.У. Прежде всего, я не думаю, что наступательный реализм хорошо справляется с этой задачей. Более того, сам Миршаймер не считает, что действия США в украинском кризисе сколько-нибудь серьезным образом усиливают их стратегические позиции. Напротив, они их ослабляют. Включение в альянс слабого, расколотого, политически нестабильного, уязвимого государства уж точно не делает его сильнее. Именно об этом с самого начала и говорили противники расширения НАТО на восток. По мне так очень сомнительно, что кто-то в Вашингтоне всерьез думал, что путем включения Украины в западный блок кардинальным образом усиливаются позиции США. Объективно говоря, этого произойти попросту не может. Поэтому, скорее нет, не наступательный реализм.

На самом деле я думаю, что в наибольшей степени работает либеральная теория. Люди здесь искренне верят в ее силу. Является ли новая власть в Киеве действительно либеральной или демократической — большой вопрос. На этот счет продолжаются дискуссии. Но если допустить, что это в самом деле так, если Вы убеждены в том, что правительство в Киеве действительно пытается построить демократию, то для очень многих на Западе (я подчеркиваю: не только в США, но также в Германии, во Франции, по всей Европе) морально уязвимой кажется отказ такому государству в его праве на вступление в либерально-демократические институты. Это просто-напросто противоречит базовой идеологии местных обществ. В этой связи я полагаю, что подобный либеральный образ мысли, согласно которому необходимо откликаться на чаяния народа, устремленного к демократии, сыграл ведущую роль в происхождении этого кризиса.

Я предвижу скептический настрой читателей, но все же повторю, что для многих

людей здесь на Западе демократическая идея представляется высшей ценностью, и для них практически немыслима ситуация, когда стране, которая так же, как они сами, демонстрирует приверженность демократии, нужно сказать: «Послушайте, вы не достойны стать частью Запада, вы находитесь слишком далеко на востоке, слишком близко к России, а нам нужно проявлять уважение к России и к ее интересам. Так что очень жаль, но нет. Двери закрываются». Поверьте, такого рода подход просто не сработает. Поэтому первооснова западной политики – не геополитические расчеты, а либеральные идеологические убеждения.

М.П. Наверное, именно это больше всего и беспокоит Россию – этот наступательный либерализм, в котором видят источник доктрины повсеместной смены режимов. Москве это создает опасения, а не окажется ли она следующей мишенью.

У.У. Я думаю, вероятность того, что кто-то всерьез рассчитывает реализовать подобный сценарий применительно к России ничтожно мала. Это, впрочем, отнюдь не означает, что люди на Западе не хотели бы – в массе своей – чтобы российское правительство было другим, более либеральным. Даже несмотря на то что они признают, что 1990-е в России были страшным временем, что в головах многих россиян демократизация ассоциируется с невыносимыми трудностями и лишениями, тем не менее многие здесь хотели бы видеть Россию другой – более открытой, более либеральной, более демократичной – в их, конечно, представлении. Тем не менее я сильно сомневаюсь, что эта точка зрения имеет хоть какое-то влияние на процесс принятия решений в отношении России.

Спасибо, профессор Уолфорт, за время и за внимание к читателям нашего журнала.

Список литературы

- Brooks S. G., Ikenberry G. J., Wohlforth W. C. Don't Come Home, America: The Case against Retrenchment // International Security. – 2012/2013. – Vol. 37, No. 3. P. 7–51.
 Brooks S. G., Wohlforth W. C. American primacy in perspective // Foreign Affairs – 2002. – Vol. 81. No. 4. P. 20–33.
 Ikenberry G.J., Mastanduno M., Wohlforth W.C. Unipolarity, state behavior, and systemic consequences // World Politics. – 2009. – Vol. 61. No. 01. P. 1–27.
 Sambanis N., Skaperdas S., Wohlforth W. C. Nation-Building through War // American Political Science Review. – 2015. – Vol. 109. No. 02. P. 279–296.
 Thompson W.R. Dehio, long cycles, and the geohistorical context of structural transition // World Politics. – 1992. – Vol. 45. No. 01. P. 127–152.
 Thompson W.R. Introduction: How Might We Know a Systemic Transition Is Unfolding? Clues for the Twenty-First Century // Systemic Transitions: Past, Present, and Future / ed. by W.R. Thompson. New York: Palgrave Macmillan, 2008. P. 1–6.
 Wohlforth W. C. The stability of a unipolar world // International security. – 1999. – Vol. 24. No. 1, P. 5–41.

References

- Brooks S. G., Ikenberry G. J., Wohlforth W. C. (2012/2013). Don't Come Home, America: The Case against Retrenchment. International Security. Vol. 37, No. 3. P. 7–51.
 Brooks S.G., Wohlforth W.C. (2002). American primacy in perspective. Foreign Affairs. Vol. 81. No. 4. P. 20–33.
 Ikenberry G.J., Mastanduno M., Wohlforth W.C. (2009). Unipolarity, state behavior, and systemic consequences. World Politics. Vol. 61. No. 01. P. 1–27.
 Sambanis N., Skaperdas S., Wohlforth W. C. (2015). Nation-Building through War. American Political Science Review. Vol. 109. No. 2. P. 279–296.
 Thompson W.R. (1992). Dehio, long cycles, and the geohistorical context of structural transition. World Politics. Vol. 45. No. 01. P. 127–152.
 Thompson W.R. (2008). Introduction: How Might We Know a Systemic Transition Is Unfolding? Clues for the Twenty-First Century. In Systemic Transitions: Past, Present, and Future / ed. by W.R. Thompson. New York: Palgrave Macmillan. P. 1–6.
 Wohlforth W. C. (1999). The stability of a unipolar world. International Security. Vol. 24. No. 1, P. 5–41.